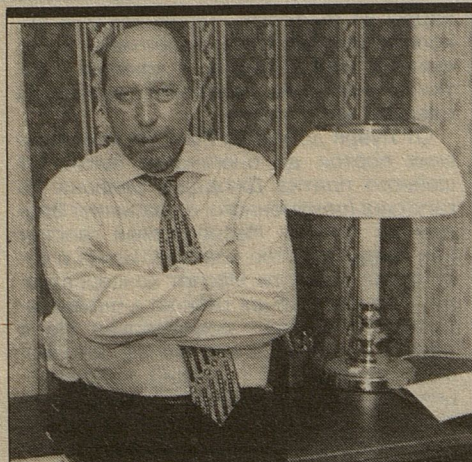




— Вячеслав Васильевич, вначале была книга. По ее мотивам, идея, настроению, сделан фильм, где вместе с режиссерами, вы — соавтор сценария. Сценарий документальной картины, очевидно, условен; фильм основан на воспоминаниях героев. Ваши ожидания как дебютанта в кино совпали с тем, что представлено на экране?

Изначально фильм представлялся как некое продолжение и развитие моей монографии о первой русской эмиграции в Париже. Я прожил там 12 лет, знал большинство старых эмигрантов. Когда мы начали снимать, мне показалось, что фильм будет, как это часто случается, иллюстративен. Я, собственно, боялся, что фильм получится хуже книги и был настроен на критический лад. К тому же снимали мои друзья, и я опасался, что из-за этого возникнут трудности. Но, оказалось, фильм вышел за рамки книги, так как в него вовлекались все новые люди и идеи. От книги остался общий философский дух, историческое представление о том, что такое эмиграция.

В книге и фильме действуют разные персонажи. Было грустное ощущение, что мы, может быть, последние свидетели того, что происходило, свидетели последних угасших судеб. Фильм проливал ностальгию и настроение людей, которые нашей эпохе не принадлежат и которых новое поколение практически уже не знает. Я очень опасался, что фильм станет неким "похоронным бюро" домом престарелых. На мой взгляд, так часто и получилось. Тем не менее свидетельства стариков интересны потому, что сейчас мы опять переживаем трагический период судьбы России, и эмиграция, правда, в другой

Литературное призвание Вячеслава Васильевича Костикова, по укоренившейся традиции новейших времен, приобрело широкую огласку по случаю сугубо политическому. Его книга "Роман с президентом" послужила причиной отъезда из Ватикана. Экспресс-секретарь стал экс-послом.

Неизменным в жизни остался пост, занятый не по приказу, а по зову души: за писательским столом. Предшествующие "Роману с президентом" книги, написанные в течение 20 лет, были изданы почти одновременно: "Вернисаж", "Об Иване Ивановиче", "Диссонанс Сирина", "Последний пароход".

Поводом для интервью "ЭС" стали два документальных фильма "Свидетели" и "Изгнание" режиссеров М.Демурова и В.Эпштейна (из будущего пятисерийного цикла), представленные пока только журналистам под общим названием "Не будем проклинать изгнание..." и вдохновенные биографии В. Костикова под тем же названием. Тему фильмов определяет подзаголовок книги: "Пути и судьбы русской эмиграции".

Телепремьера картины состоится в ноябре.

А сегодня предлагаем вниманию читателей интервью В.Костикова и отрывок из романа "Последний пароход".

исторической обстановке, на более низком культурном уровне, воспроизводится снова. Схожесть эпох состоит в том, что фактически мы продолжаем гражданскую войну. К счастью, она не носит такого кровопролитного характера, как после 1917 года, но продолжалась в сердцах, душах, в жизни. То, о чем говорил в свое время Н.Бердяев, — Россия должна выдвинуть из себя большевизм и коммунизм, — это еще не окончено. Мы полагали, что коммунизм умрет с победой демократии, с крахом социализма. Но этого не произошло. Раньше в подполье, в сопротивлении были мы, демократы. Теперь в сопротивлении (но не в подполье) находится большевизм. Персонажи фильма размышляют о том, как брат убивал брата, какие они при этом испытывали чувства, какая это трагедия для России, какая утрата для нравственности народа, для культуры — и все эти вопросы сейчас, хоть и в несколько ином измерении, но все равно стоят перед российским обществом.

Работая в Кремле, я был человеком, ангажированным в политике, и хотел, чтобы фильм звучал более жестко и остро. Но, к счастью, мудрость оставшихся свидетелей оказалась выше политической ангажированности. Они говорили о гражданской войне, как о большой трагедии и бедах, и красных, и белых, и восторженно, прощаясь, взвешивая на весах добра и зла того, что творили и те, и другие, — делает фильм незлым, зовущим к выходу из гражданской войны.

— С уроками истории и безнадёжностью их извлечения понятно. Что подсказывало вам герои об истоках гражданской войны, и что думаете вы о ее окончании? — Истоки гражданской войны достаточно хорошо изучены: конкретный толчок дала империалистическая война 14-го года, когда, кроме большевиков, откликнулись на призывы Ленина и Троцкого "превратить войну отечественную в гражданскую", сорвали действительно не против внешнего врага, а против соперников в борьбе за власть.

— Я скорее имела в виду перманентную гражданскую войну, неистребимую рус-

скую готовность к агрессии.

— Метафизические причины есть: нетерпимость русского характера. Атеистическая сущность русской души. Вы знаете ироничную поговорку: "Годится — молятся, не годится — горшки накрывать". Русский народ в философском и культурном плане не был глубоко верующим. Для него религия и вера не стали частью духовной жизни и культуры. Были ритуалы: поп, приход, церковь, семейные традиции. Надо признать нигилистический характер русского человека, отрицание всего и склонность разрешать возникающие противоречия не трудом, не молитвой, а топором.

— Значит окончание войны откладывается до изменения природы русского человека?

— Я бы не сказал, что здесь скрывается природа русского человека — скорее, это историческая судьба. Наша история очень противоречива и по сравнению, скажем, с историей европейской цивилизации достаточно коротка. Я думаю, что русский характер еще

человеческую ценность. Я не хочу критиковать русскую православную церковь — у нее сложная история, — но она всегда звала к покаянию, почитанию Бога, Царя — и, безусловно, к защите Отечества. Но тема труда как основы человеческого бытия в русской проповеди звучит очень слабо. Эти основы строительства человека и общества не проникли глубоко в душу, и поэтому многие по-прежнему уповают на бунт.

Говоря цинично, русская история беспробойно поставляет художникам сюжеты и образы. Возвращаясь к кино: вы сочиняли сценарии игровых фильмов?

— У меня есть два сценария, которые я не пытался реализовать, потому что нет времени. Знаете, жизнь художника такая: либо ты купец с товаром, либо сидишь за письменным столом и продолжаешь работать. Я всегда выбирал второе.

Один сценарий написан на основе моего детективного романа. С этого я начинал, где-то в 73-м году. Я тогда загорелся — Юлиан Семенов, с которым я дружил, помог опубли-

“Попытка

просто не прошел той тонкой гранки, которая дала бы возможность смотреть на жизнь и историю философски, нравственно, и главное, с пониманием того, что благосостояние дарят не коммунисты и не демократы, не большевики, не меньшевики, не партии, не Бог, а очень большой труд. Чем силен католицизм и Еврея? Почему его можно назвать одним из строителей современной цивилизации? Католическая религия призывала к сдержанности в потреблении, в поведении и всегда поддерживала труд как основную че-

— Вероятно, какое-то недоразумение, господа... Перепутали дату прибытия? Не дошла телеграмма? Может быть, нас ожидают совсем в другом месте? Надо спросить...

Николай Александрович с растерянным видом стоял чуть в стороне, губы у него едва приметно вздрагивали. Маленькая ручка сжимала в кармане листочек бумаги, на котором всего за полчаса до швартовки он постеснялся нацарапать карандашиком несколько "тэзисов". Пахло загнившей водой, водорослями, угольным дымом. Небо над ними заволокло серенькое, простуженное, с минуты на минуту мог взяться дождь.

Надо, однако, что-то и предпринять. Не стоять же здесь, как Наполеон в ожидании депутации, — проговорил он, стараясь иронией подавить разливающегося в душе чувства тэзисов.

Оставив вещи под присмотром, несколько человек пошли в маленький, из закопченного красного кирпича вокзальчик. Но и здесь никого не было.

...Потом долго, несколько раз считая и пересчитывая деньги, рдидились с извозчиком, чтобы перевезти вещи на железнодорожную станцию. И когда погрузили чемоданы, мешки, короба на телеги и двинулись через город, досадно было видеть, как прохожие останавливаются и с любопытством разглядывают странный обоз — за телегами пешком шли одетые, несмотря на теплый сезон, в пальто люди, вроде бы и не цыгане, но что же они? Казалось, что все

смотрят с подозрением, с умишкой, точно бы все они знали или догадывались о том, что произошло. И только когда покончили с утомительными полицейскими формальностями, когда купили билеты до Берлина, сели в поезд, через полчаса пути, когда невыразительная болтовня равнина уступила место пологим холмам, когда замелькали деревенские и аккуратные полустанки, утопающие в осенних цветах, все понемногу успокоилось. Стали обсуждать случившееся.

Николай Александрович в общем разговоре участия не принимал. Подняв воротник пальто и заматов шею шарфом — с детства его преследовал страх болезней, — он углубился в воспоминания, точно бы пытаясь за словесным сором последних дней, за россыпью последних встреч, горячностью, впечатлений разглядеть нечто важное, какой-то неверный, может быть, ход, шаг, движение, которые, сложившись все вместе, привели их в этот тесный вагон

мог бы его отдал". Сценарий требует философского, несуетного взгляда и мастера, умеющего делать не только красивые картинки. Повесть "Об Иване Ивановиче" — о том, ради чего человек рождается, живет, что должен сделать в жизни, чтобы когда придет смертный час, спокойно сказать: "Я прожил жизнь не зря".

— Автор знает, как жить не зря? Там есть ответ?

— Там есть попытка ответа. Если бы был ответ, я бы назывался не Вячеслав Костиков, а Будда или Иисус Христос. Ответов на такие вопросы нет и не может быть, потому что смысл человеческого бытия — искать эти ответы. А найдутся ответы — потеряется смысл: жить станет неинтересно.

— В Ватикане, с Папой у вас была возможность говорить на эти темы?

— С Папой я на такие темы не говорил, поскольку они требуют значительного времени.

У меня оно было, а у Папы нет. Наши беседы, как правило, касались либо политики, либо религии, чуть-чуть культуры, потому что Иоанн Павел II — человек открытой культуре, с ним очень интересно на эту тему говорить. Но, во-первых, он всегда занят, работает с огромной нагрузкой, а во-вторых, часто болен. Да и пробыл я в Ватикане недолго.

— Как же вы пишете сейчас, когда?

— А я сейчас и не пишу. В этом горький дуализм моего бытия. Последние четыре года у меня есть четкое сознание того, что я пишу чужую деланку. Начиная с прихода в Кремль. Не могу сказать, что мне это не нравится: по характеру я человек темпераментный, мне может быть, даже страстный, и ни в коем случае не отталкиваю от себя тех людей. Но в принципе это было не мое, потому что мое — вставать рано утром, сидеть за столом и работать без зрителей и свидетелей.

Как пишу? Я практически никогда не пользуюсь историческим материалом, жизненным, как это называлось у соцреалистов. Единственная книга, построенная на дейст-

ств творческих открытий. А когда я писал, вставать в 5 утра не представляло никакой проблемы. Я предвидел что-то в себе, листе бумаги, ручке или пишущей машинке. Это захватывающее ожидание разговора с героями, с собой. Ведь писание — всегда исповедь. Как молитва.

— Романисты Алданов, Газданов близки вам?

— Особенно Гайто Газданов. Я открыл его в 72-м году, и был одним из первых, кто привез его сюда в коверкопии. Первым издал его Вацлав Михальский, в издательстве "Солгале". В Газданове мне близка школа; Набоков мне близок. Те — для динамики движения романа, это прежде всего динамика движения русского языка.

— Завершая тему, вы можете рассказать о кино-театральных впечатлениях последнего времени?

— Проблема "последнего времени" в том, что времени у меня почти нет. Я практически не бываю в кино, мало в театре, и совсем не смотрю телевизор.

На последнем спектакле, который мне очень понравился, я буквально упал на пол от смеха. Мы сидели вместе с Сергеем Дубининым, председателем Центробанка, и вдвоем чуть не упали. Но он человек более серьезный и удержался, а я упал. В "Современнике" на "Пимелюне" Бернарда Шоу, с Габтом. С большим удовольствием посмотрел у Марка Розовского "Песни старого двора", потому что это связано с моей юностью, студенческими годами. Все песни, что там исполнялись, я знаю, и подпевал исполнителям. Тем более, что большинство этих песен входит в мой собственный "репертуар". Играть я не умею, но аккомпанировать себе могу. У меня есть десятка полтора собственных песен. Но "Песни нашего двора" — отдельный жанр.

Меня современные театралы осудят, наверное, но я очень люблю пьесы Горького. Особенно "На дне".

— В ночном старике, рассуждающем о

ответа”

вительности, и то в форме романа — "Последний пароход", о высказке русских философов, — потому что я понимал, что читателям интересна реальная историческая канва. Конечно, всегда существует исторический "задник", но в принципе я пишу без подготовки и исследований. И в этом смысле, и с точки зрения стилистики я считаю себя фантастическим реалистом. Есть такое понятие. В европейской культуре это Гофман, у нас Голы, Достоевский.

Писать я предпочитаю утром. Сейчас стало труднее вставать, потому что день не не-

правде, из "Диссонанса Сирина" есть что-то от горьковского Луки?

— Не исключено. Мне кто-то об этом говорил.

Очень легко обвинить человека в том, что он что-то где-то украл. Мне первые уроки жизни подсказали, что надо быть честным. Петровым Катаеве, с которым мы были друзьями. Он говорил мне: "Слава, надо "воровать". Воровать, потому что сам всего не освоишь". И знаете, если вдумчиво читать любого крупного классика и современников великих авторов, о которых все забыли, то вы обнару-

жите, что были десятки людей, писавших почти что на уровне Чехова, почти что на уровне Достоевского. Но единицы в силу особой одаренности и приобщенности, может быть, к небу, возвысились над этой массой. Тот же Газданов очень близок к Булгакову, к Набокову. Все мы часть нашей культуры и производное от других писателей. Я, возможно, как некий гумус, тоже послужу кому-то — более одаренному. Может быть, через несколько лет родится очень хороший русский писатель и крупица моих поисков станет ему полезна. Он станет знаменитым, а обо мне через пятьдесят лет все забудут.

— Почему вы не поступали в Литинститут?

— Нельзя научить писать, чувствовать слово, фразу, интонацию.

Я был уже профессиональным журналистом, когда поехал в Париж чиновником, в секретариат ЮНЕСКО, после окончания Академии внешней торговли. Я понимал, что "службу" мне мало, и договорился с агентством печати "Новости" о маленьких статевахках для них.

В Париже меня поразило огромное количество мешан. Не в плохом смысле слова. Мелкие лавочники, киоскеры, владельцы "бутиков". Мне было интересно понаблюдать за этими людьми, которые, может быть, являются главной базой европейской цивилизации — незаметные труженики. Я начал писать очерк о лавочнике, написал 5-10 страниц и понял, что мне тесно в этом маленьком объеме. И подумал впервые, что можно написать повесть. Конечно, эту повесть я потом выбросил, но начал писать детектив. Притом, что детектив я считал не своим делом, потому что здесь же было заложено и неразрешимое противоречие: они оказались оторванными от материи, от материнского пуповины — в замкнутом пространстве эмиграции. Это было счастлиное по свободе самоощущение, но тем не менее культурное и политическое гетто. Если мы хотим оценить трезво то, что дала эмигрантская культура за 60 с лишним лет существования, то должны констатировать: кроме таких явлений, как Набоков, Алданов, взрывного продвижения российской культуры на Западе не произошло. Именно потому, что потенциальные творцы оказались в отрыве от родной культуры, почвы, даже тех трагических ударов, которые душили Россию. Конечно, то, что сейчас эмигрантская литература возвращается в Россию, хорошо. Возвращение дало нам возможность понять, что никакая культура не может развиваться вне своего народа.

— Я хочу немного изменить ход размышлений. В фильме эмигранты производят впечатление особой породы людей — людей прощающих. А судьбы их трагические, мученические. Это что, закономерность, или кинобман?

— Тут два обстоятельства. Конечно, присутствует философия прощения — в силу возраста или высочайшей культуры. Ведь культура — это покаяние, прощение, умиротворение, — это покаяние, прощение, умиротворение,

— Есть у вас интерес к современной отечественной литературе?

— У меня есть ощущение, что наша современная проза находится на стадии экспериментальной студии. Не хочу никак предсказывать, потому что оценку литературному труду может дать только время. Может быть, среди современных авторов есть и свой Кафка, и свой Диккенс, и Пастернак. Но пока я не вижу автора с потенциалом, под стать российской культуре. Экспериментаторство хоро-

шо. Это необходимая стадия для любого автора. Но если оно затягивается, значит у писателя нет большого литературного дара, который помог бы ему осилить жанр романа. А специфика русской прозы и беллетристики вертится вокруг романа. Если нет романа, нет писателя. Ну, Чехов исключение.

— Логично предположить, что эмиграция не только подарила вам сюжеты, характеры, образы, но также оказала и некое воздействие на мировоззрение человека со старой-новой Родины?

— Не только столкновение с эмиграцией, но и вообще с западным миром производило в то время огромное впечатление на советского человека.

Когда, приехав в Париж, я пошел в библиотеку, на книжный рынок, просто на улицы, стал смотреть телевидение — это привело к взрывному расширению культурного и политического кругозора. Все мы были как бы "прикованы к батарее" социалистического реализма. А здесь, вдруг открылся новый мир, в том числе и мир эмиграции. Это позволило понять, что было бы с русской культурой, если бы она развивалась без цензуры, в условиях демократии. Исход из России для многих эмигрантов оказался и избавлением, и спасением, потому что эмигрантские писатели, художники, поэты, публицисты оказались в зоне свободной мысли. Другое дело, что здесь же было заложено и неразрешимое противоречие: они оказались оторванными от материи, от материнского пуповины — в замкнутом пространстве эмиграции. Это было счастлиное по свободе самоощущение, но тем не менее культурное и политическое гетто. Если мы хотим оценить трезво то, что дала эмигрантская культура за 60 с лишним лет существования, то должны констатировать: кроме таких явлений, как Набоков, Алданов, взрывного продвижения российской культуры на Западе не произошло. Именно потому, что потенциальные творцы оказались в отрыве от родной культуры, почвы, даже тех трагических ударов, которые душили Россию. Конечно, то, что сейчас эмигрантская литература возвращается в Россию, хорошо. Возвращение дало нам возможность понять, что никакая культура не может развиваться вне своего народа.

— Я хочу немного изменить ход размышлений. В фильме эмигранты производят впечатление особой породы людей — людей прощающих. А судьбы их трагические, мученические. Это что, закономерность, или кинобман?

— Тут два обстоятельства. Конечно, присутствует философия прощения — в силу возраста или высочайшей культуры. Ведь культура — это покаяние, прощение, умиротворение,

Окончание на 16 странице.

Н о ничего не было видно: и море, и небо — все казалось одного серо-молочного цвета, точно их оклеили лапирной бумагой. Сколько хватало глаз — и на Запад, и на Восток, — не разглядеть было ни паруса, ни рыбачьего баркаса, ни грузового судна, которое не несло свое бремя от одного берега к другому. После сутолок успешных соборов, а перед этим — череды допросов, пререканий, угроз, страхов, поисков заступничества, обещаний, обманов, бессонных ночей в тюрьме на Лубянке, когда от каждого звука, шороха, случайно оброненного следователем слова, стука за стеной, короткой вести с улицы так яростно, нервно, так молодо вздымается дрожь, так жельно и нетерпимо закипает мысль, — это валюте, точно в последней стадии дистрофии дышащее море, этот отцеженный свет, это уныло-беспомощное тараканье горя, не окливающих головы в предельном споре, изгнати, что это не их с пеннистом красноречием неделю назад обличал Лев Давыдович Троцкий в интервью Луизе Брайант: "Те элементы, которых мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны. Но они — потенциальные оружие в руках наших возможных врагов... В случае новых военных осложнений все эти наши непримиримые и несправимые элементы окажутся военно-политическими агентами врага... И я выражаю надежду, что вы не откажетесь признать нашу предсудителную гуманность..." Казалось, что они сами, уличенные в жалкой краже с прилавка, спасаются бегством через проходные ворота и подворья. Было неловко друг перед другом. Все молчали или раздражались из-за пустяков. За два дня пути не произошло никакого события. Все так же лениво отступала назад за бортом серая балтийская волна, все так же безучастно висело над ними небо. Только однажды случился казус: одной из пассажирок крысы обвели полу мелочное пальто, и она плакала, рассказывая, как в Петрограде за день до отъезда выменяла это пальто (почему-то ей нравилось это слово, и она повторила его несчетное число раз) за золотой перстень, и всем было неловко оттого, что она плачет, но слезы ее выжимали не сочувствие, а досаду.

— Такое впечатление, что в Европе даже крысы ополчились на нас, — заметил кто-то.

* Луиза Брайант — американская журналистка, корреспондент "Интернэшнл ньюс сервис", подруга Джона Риды.

* Вместе с Николаем Александровичем Бердяевым были высказаны крупнейшие русские философы XX века: С. Франк, Н. Лосский, С. Булгаков, В. Вильясовцев, Л. Карсавин, И. Ильин.



второго класса с потерянными деревянными скамейками, тащившийся черепашьим шагом мимо чужих пейзажей. Из всей несконченной впечатлений аснее всего выступало, может быть, уже просясь в будущее мемуары, одно свидание, один спор, в котором он — так ему тогда казалось — одержал победу, но которая теперь, когда он знал, что из всего этого получилось, уже не виделась ему такой очевидной.

...Лето 1922 года он проводил в Звенигородском уезде, в живописной местности на берегу Москвы-реки. Погоды тогда дождливые, все вокруг пропиталось влагой, запахами трав. В июне пошли грибы, и он подолгу бродил по лесу с кошелкой. Хотя до Москвы было рукой подать, вести из столицы доходили приглушенные, утратившие ясность и остроту, точно бы они протиснулись в его сельское единение сквозь толщу десятилетий. Здесь, в деревенской глуши, они воспринимались как некая философская абстракция, умозрительное разрешение спора между светом и тьмой, новым и старым. Он и сам прежде неоднократно думал и писал о роковых свойствах русской истории, о ее обремененности к бесконечности, о давнем противоборстве в русской душе двух противоположных стихий: "Деспотизм и волюнтаризм, искание Бога и воинствующее безбожие, уни-

начал, уходящих корнями в глубины российской истории, — разрушающего и созидющего. В аресте Веры проглядывали иррациональность, бессмысленность происходящего, некая еще неясная ему порочность, и эта нерациональность более всего и напугала его. Он угнетался в ней началом чего-то нового, того, что никак не укладывалось в логику революции. Поддавшись этому настроению, он поехал вместе с Михаилом Андреевичем в Москву с намерением вникнуть в суть случившегося, а если представится случай, то и помочь невинно пострадавшей девушке.

Но ничего ни осмыслить, а тем более предпринять Николай Александрович не успел. В первую же ночь его арестовали и увезли на Лубянку. И здесь, в тюрьме, его тоже удивил все тот же аллоизм происходящего: арестованных допрашивали, как правило, по ночам, точно бы здесь, в "органах", существовали иные измерения времени. Его тоже повели на допрос в двенадцатом часу ночи. Когда впустили в просторный, хорошо освещенный кабинет со шкурой белого медведя на полу, там уже находилось несколько человек, из чего он сделал вывод, что его допрос был обусловлен заранее. Одного из них он узнал тотчас же — Льва Каменева, председателя Московского Совета. И в это время разговора он ни разу не подал голоса: устроился в блокноте в глубине комнаты и молча делал пометки в блокноте.

Около письменного стола стоял высокий, худощавый человек в военной форме с красной звездой, блондин, с женской бородкой и грустными глазами. В его обличье, в том, как он склонил голову, когда Николай Александрович вошел, как слегка улыбнулся, как жестом предложил сесть и только потом сел сам, проглядывала деликатность воспитанного, интеллигентного человека.

— Я не тешу себя мыслью, что вы меня знаете в лицо. Но имя, вероятно, слышали. Меня зовут Дзержинский, — сказал он просто, без всякой рисовки. — Вас мы, естественно, знаем. Если желаете курить или чаю, я распоряжусь.

— Благодарю вас, я уже привык к папику. Если позволите заметить, в вашем учреждении я вторично, — холодно заметил Николай Александрович.

— Следовательно, вам повезло, — отозвался Дзержинский. — Мне на днях рассказывали о петербургском профессоре-аграрнике. Его арестовывали шесть раз. И, как выяснилось, все шесть раз без всяких оснований. Мы пытаемся поставить дело в рамки законности, но, увы, это не всегда удается. Русская стихия! Вы, кажется, много писали об этом.

— Я писал о стихийности русского характера, а не о стихии, которой оправдывают беспорядок, — заметил Николай Александрович. Ему было и легко, и смешно, что в стенах этого учреждения имеются люди, читавшие его труды.

“Попытка ответа”

Окончание. Начало на 8–9 стр.

стремление к гармонии.

Надо учитывать, что, когда они уезжали из России, практически все, за исключением провидцев, считали, что вернутся через три-четыре года. Никто не верил, что большевизм укоренится на столь длительный срок. Уезжая, чтобы вернуться, эти люди даже не стремились интегрироваться в европейскую культуру. Многие семейства, которые приехали, не зная языка, так ему и не научились, хотя прожили за границей по 20–30 лет. Это произошло и потому, что поток эмиграции был огромен. Выплеснулось, если не море, то целое озеро русской жизни и русской культуры. В эмиграции было все — родильные дома, картинные галереи, были свои брадобреи, повивальные бабки, сводницы, сутенеры, проститутки. Фактически во Франции в миниатюре воссоздалась российская жизнь.

Практически все партии — а их было больше 20 до революции — там воспроизвелись со своими печатными органами, газетами, культурной средой. И русский, если не хотел интегрироваться, чувствовал себя вполне комфортно. Только такие гиганты, как Набоков, смогли преодолеть поле тяготения русской культуры. Ведь Набоков стал известен в Европе, когда начал писать по-английски. Большинство же русских писателей, поэтов продолжали писать по-русски и на русские темы, причем, как правило, дореволюционные.

— Мне кажется, что и Набокова достаточно. Ваш интерес к эмиграции понятен. Было ли встречное движение?

— Было настороженное любопытство. Сейчас, когда приезжают русские, эмиграция очень быстро открывает им и свои двери, и сердца, и кладовые памяти. А тогда в каждом советском человеке они видели именно советского человека — плод коммунистического воспитания, комсомольско-пионерских организаций.

— Но ведь вы таким и были?

— Я уехал за границу, если не правовым коммунистом, то во всяком случае членом партии, разделявшим многие иллюзии. Скажем, как и Горбачев, я довольно долго видел возможность построения “социализма с человеческим лицом”.

Встреча с эмиграцией стала ломать — и очень быстро — эти иллюзии. Открылся доступ к историческим архивам. Открылись глаза: кто такой Троцкий, кто Ленин, каким образом произошла больше-

вистская революция. Я в документах увидел, что это был переворот. Они просто подобрали власть, которая в силу исторической обстановки оказалась “бесхозной”. Стало ясно, что виноват не Ленин, не Сталин, не Каменев с Зиновьевым, а сама идеология коммунизма.

У меня возникла колоссальная душевная дисгармония: в России мои товарищи, друзья и родственники оставались правоверными социалистами и коммунистами, а я в течение полугода фактически стал диссидентом. Из этой двойной жизни и двойной морали я не мог еще выпрыгнуть в силу разного рода обстоятельств. На какие-то безумства у меня хватало смелости. Скажем, привозить в Россию, пользуясь дипломатическим паспортом, книги Солженицына. Это были маленькие проявления умеренной доблести.

С одной стороны, я чувствовал себя, несомненно, человеком; с другой стороны, меня длительное время не принимала эмигрантская среда, видевшая в дипломате коммуниста, близкого к КГБ. Я никогда не обижался на них за то, что долго стучался в дверь. Эмигрантская среда, начиная с 20-х годов, была перенасыщена агентами КГБ. Ведь тогда эмиграция представляла собой немалую политическую силу. Позднее борьба с эмиграцией стала для КГБ одной из форм поддержания тезиса о своей необходимости, продолжением “классовой борьбы”.

— Но ведь это была вымышленная реальность. В 70-е русская эмиграция не влияла на ход ни советской, ни западной истории?

— Понимаете, это не совсем так. Сейчас оцениваете все по-другому. Многие эмигранты, особенно после победы 45-го года, вернулись в Россию. В эмигрантской среде был колоссальный патриотический подъем. Даже такие противники советской власти, как Миллюков, практически начали поддерживать Сталина. И задача Комитета Государственной Безопасности была всячески стимулировать это. Пользуясь волной патриотизма КГБ, удалось завербовать многих эмигрантов, не за деньги, а опять-таки, исходя из патриотической позиции разведки.

От меня потребовалось много усилий, искренности, чтобы лидеры эмигрантской общины поверили, что я просто русский человек, не хочу ничего другого, кроме как уз-

нать эмигрантскую жизнь, понять ее и перенести крупицы ее культуры в Россию.

Но вхождение в тему было трудным. Меня откровенно предупредили: “Если у вас будут контакты с эмиграцией, мы вас отзовем обратно, лишим дипломатического паспорта”. Но тогда постоянным представителем Советского Союза при ЮНЕСКО был такой мужественный человек — Александр Сергеевич Пиратов. Он чувствовал себя достаточно независимым, поскольку был зятем Громыко. Когда меня начали преследовать, я просто понял, что либо жертвую своей карьерой, либо надо искать выход. У меня состоялся откровенный разговор с А.С.Пиратовым. Он меня поддержал. В какой-то степени это меня спасло от последствий.

— Вы никогда не обдумывали как последний вариант — остаться, стать эмигрантом?

— Этого никогда не было. Во-первых, чтобы остаться, надо что-то сломать в себе, и, откровенно говоря, для меня никогда не вставал этот вопрос. Даже в самые трудные годы. Тем более, когда я выехал в первый раз, тоталитарная обстановка начала рассасываться, появились первые признаки свободомыслия, первые зачатки свободной печати. До Горбачева было достаточно далеко, но жесткого зажима уже не было. В сущности, во времена Хрущева и Брежнева было позволено быть внутренне свободным. Если ты не выходил с антисоветским лозунгом к памятнику Пушкину, то остальное власть не интересовало. Хватало и везли в “кутузку”, когда человек ак-

тивно протестовал, когда это носило форму организованных акций. А московские кухни, разговоры — то, чем занималась значительная часть советской интеллигенции, — это уже не преследовалось. Для интеллигентного человека это очень много, по сути достаточно. Мне не нужно было бежать для того, чтобы обрести внутреннюю свободу.

— В Париже отношения с кем-то из эмигрантов вышли за рамки простого знакомства?

— Если говорить о настоящей близости, то упомяну двух людей. Николая Павловича Остелецкого (ныне покойного), тогдашнего председателя офицерского морского Собрания, одного из лидеров эмиграции, буквально на свои средства создавшего Морской музей. И, конечно, семейство Кривошеиных. Сначала я был знаком с Игорем Кривошеиным, сыном известного Кривошеина, бывшего министром врангелевского правительства, председателем российского Крестьянского банка до революции. Потом познакомился с его сыном Никитой, который до сих пор мой близкий друг.

Остелецкий был представителем военной аристократии. В момент знакомства ему было за 80. Это был крепкий, статный старик, отчасти барин. Когда мы приходили в русский ресторанчик на улице Пасси, он хозяину подавал два пальца для рукопожатия, как делали помещики во времена Пушкина и Троекурова.

И вот молодое поколение — Никита Кривошеин (ведущий рассказчик в фильме). Человек сложной трагической судьбы, и я просто не берусь

говорить о нем.

— В фильме ему принадлежит фраза: “С Россией меня примирила Мордовия”. То есть лагерь, где он сидел, точнее его обитатели.

— Да, это многозначительная фраза. Я, пожалуй, не согласился бы с ним. Конечно, в лагерях оказалось много честных, порядочных людей. Но нельзя говорить, что настоящая Россия — лагерная. Это искаженное представление о всей советской истории и даже обижает Россию. И я с ним собираюсь поспорить об этом.

— Как все-таки складывалась тогда ваша жизнь, тягостная новыми знаниями, в режиме двойной морали?

— Может быть, я не совсем точен был, когда говорил о двойной морали. Мораль была одна — русского человека. Вторая сторона жизни проявлялась не в морали, а в ритуалах. Нужно было участвовать в мавке, голосовать за Брежнева, работать в партийной организации.

— А это не было оскорбительным маскарадом, тем более что просвещенная Европа, ваши коллеги в ЮНЕСКО понимали правила игры?

— Когда вас держат в тюрьме и вы подчиняетесь нормам тюремного права, вы не считаете, что ведете аморальный образ жизни. Вас вынудили к этому насильем. Это больно, но не стыдно. Другого выхода просто не было.

— Мой вопрос обращен к писателю, а не к политику-чиновнику.

— Для писателя важно быть свободным в творчестве, честным в творчестве. В моих книгах нет противоречия с общечеловеческой моралью. Если человек врет в книгах, тогда ему можно задавать неприятные вопросы. Лицо автора — его книги, а не то, что он вынужден был иметь партийный билет. Я писал предельно честно. Мои романы и повести десятилетия ждали публикации. Я показывал их во всех толстых литературных журналах того времени, и внутренние рецензии всегда были хорошие, но когда речь шла о публикации, срабатывал страх главного редактора за свой журнал. Но я не переписал ни строчки. С монографией об эмиграции мне просто повезло, потому что я ее закончил в то время, когда уже можно было честно говорить на эту тему. Иначе она все равно пролежала бы до этого времени в письменном столе.

— Вопрос, который нечестно было бы не задать. Ваша последняя книга “Роман с президентом” принадлежит скорее перу политика и журналиста, нежели литератора. Может быть, это проявление слабости?

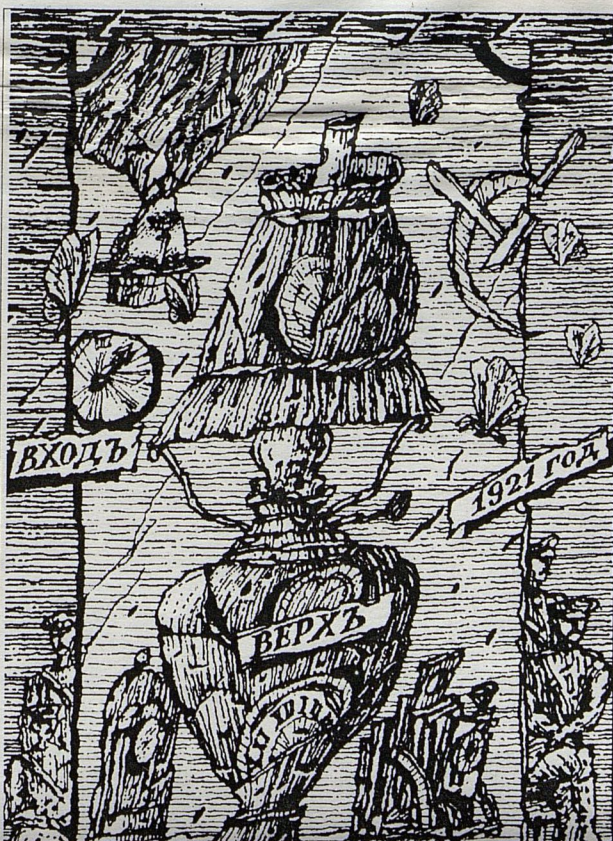
— Почему слабости? Я считаю, что книга — проявление мужества. С точки зрения карьеры, благополучия, мне бы не следовало писать эту книгу. Мне был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, это вершина политической карьеры для дипломата, к ней люди идут всю жизнь. Я бы мог до пенсии жить в Ватикане. Но мне хотелось сказать о том, что я увидел в Кремле. Потому что кремлевская кухня, система принятия решений, характер президентской власти, характер самого президента — все это животрепещущие болезненные проблемы, которые оказывают непосредственное влияние на современную политику. Я считаю, что книга полезная, это честное зеркало, прежде всего для президента, хотя, может быть, он и не захочет посмотреть в него. Во всяком случае, многим политикам, которые еще достаточно молоды, было бы полезно посмотреть в это зеркало и, может быть, избежать тех серьезных политических и нравственных проблем, с которыми столкнулся Борис Николаевич в силу характера, или в силу обстоятельств.

В то же время книга довольно желательная. Мне не за что и некому мстить, потому что я был частью происходящего. Кроме того, я действительно очень благодарен президенту за тот колоссальный опыт, который получил рядом с ним. Это не книга-отмщение, а в какой-то степени книга-исповедь, и я не хотел нанести ущерба, и думаю, не нанес его Борис Николаевичу.

— А герои этой книги не станут персонажами следующих?

— Я думал об этом. Ну, в первых, не случайно книга названа “Роман с президентом”. Это повествование не остринное, написанное достаточно страстно, заинтересованным пером. И какие-то элементы интриги, характеров в этой книге есть. Я неоднократно думал, что если мне придется писать просто роман, то, наверное, и сам Борис Николаевич и многие обитатели Кремля могли бы стать его персонажами. Скажем, если мы возьмем “Войну и мир”, там ведь целый пласт — жизнь двора, жизнь Петербурга, светская жизнь. Можно и таким образом этот опыт воспринимать.

Беседовала
Алиса ХМЕЛЬНИЦКАЯ



Последний пароход

бы в России. Вы это прекрасно знаете. Вы говорите, страна вас приняла. Позвольте, однако, одно разъяснение. Да, коммунизм как выражение русской идеи захватил душу народа. Но ведь вы хотите навязать свою идею всем, всем без исключения... Вы считаете меня врагом, а я всего лишь несогласный с вами. Вы считаете, что излечили Россию, а я думаю, что вы ввергли ее в тяжелую болезнь. Мой долг как сына России оставаться у постели больной матери...

— Я вас понял, Николай Александрович. Ваша позиция

мне более чем понятна, — сказал Дзержинский. — Я вас теперь же освобожу, но... просил бы не уезжать из Москвы без уведомления. Вячеслав Рудольфович, — обратился он к сидевшему неподалеку от стола человеку, — сейчас уже поздно, а в Москве бандитизм... Нельзя ли отвезти Николая Александровича домой на автомобиле?

Это было одно из самых последних и, может быть, поэтому самых сильных впечатлений — странное, почти нереальное путешествие по ночной Москве.

Его отправили в сопровождении солдата на мотоциклете, так как свободного автомобиля не оказалось. Они летели по погруженным во мрак улицам столицы, и назад, точно в небытие, отскакивали заборы, дома, особняки, маячившие белесым белымом церкви, черные подворотни. В лицо упруго кидался ветер, когда они на полном ходу, едва не опрокидываясь на перекрестках, ныряли из одной мертвой улицы в другую. И у него было впечатление, что в каком-то грандиозном мифическом сне отваливается назад десятилетиями и веками русская история, и было жутко и сладостно-страшно от этого опрокидывающегося времени, от полной неясности того, что будет.

Художник А.АНТОНОВ

Окончание. Начало на 8–9 страницах.

рицаю коммунизма как социальную и экономическую систему. Но коммунизм, каким он обнаружил себя в русской революции, отрицает личность, совесть, и этого я не могу принять. Социально в коммунизме есть своя правда — правда против лжи буржуазности и социальных привилегий. Но коммунизм, каким вы его представляете, есть, в сущности, новая религия, религия коллектива со свойственным всякой религии фанатизмом и ложью.

Он говорил минут тридцать — привычно, раскованно, горячо, точно бы находился не в тюрьме, а на университетской трибуне. Его ни разу не прервали, и, только когда на каком-то повороте длинной, слишком уж сложной фразы он остановился, чтобы перевести дух, Дзержинский, воспользовавшись паузой, сказал устало:

— Не стану оспаривать ваших построений. Я, вы знаете, не философ, и спорить с вами на этом поприще было бы трудно. Но позвольте спросить... Как вы отнеслись бы к эмиграции? Ведь согласитесь, постоянно выступая против советской власти, демонстративно (не так ли?) отделяя себя от нее, вы как бы уже отделяете себя от страны, которая эту власть приняла.

— Если бы я был за эмиграцию, меня давно уже не было

Главный редактор А.А.АВДЕЕНКО